

ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ТЕНДРЯКОВ

Наталья АСМОЛОВА-ТЕНДРЯКОВА

Фото из семейного архива

Внешне биография Владимира Тендрякова бедна событиями — родился в 1923-м, с 18 лет солдат, участник войны с фашистской Германией: три года передовой, тяжелое ранение; дальше — учеба в Литературном институте, а потом, всю жизнь — писательский стол...

Принято считать, что его писательская судьба сложилась благополучно. 30 лет звучал в литературе его голос. Из года в год публиковались романы, повести, рассказы: «Не ко двору», «Ухабы», «Суд», «Ночь после выпуска», «Расплата». На сценах многих театров страны шли его пьесы, экранизировались его романы и повести. Казалось бы, что может быть счастливее такой судьбы? Но все, что опубликовано при жизни, лишь видимая часть айсберга. С ожесточенным упорством Владимир Тендряков год за годом писал рукописи, которые были арестованы временем и



Советский писатель Владимир Тендряков (1923–1984).

на десятилетия сосланы в стол. Уже после ухода из жизни Тендрякова (1984г.) читатель узнал роман «Покушение на миражи», повесть «Чистые воды Китежа», и вот теперь пришла очередь «Охоты», написанной в 1971 году.

Какими словами предварить эту повесть? Думается, разумнее всего привести несколько высказываний самого Владимира Тендрякова из его литературного эссе «Культура и доверие», опубликованного в журнале «Огонек»:

«Люди моего поколения хорошо помнят то время, когда восторженная любовь ко всему русскому доходила до курьезности. В одном из

изданий пушкинской «Сказки о царе Салтане» вместо слов «за морем житье не худо» стояли точки, даже в этой весьма безобидной фразе усматривали нечто умаляющее наше национальное достоинство. И с апломбом прославлялись высокие качества русского мужика, и считалось едва ли не преступным говорить о незавидном положении, в каком находился этот русский мужик в те годы...

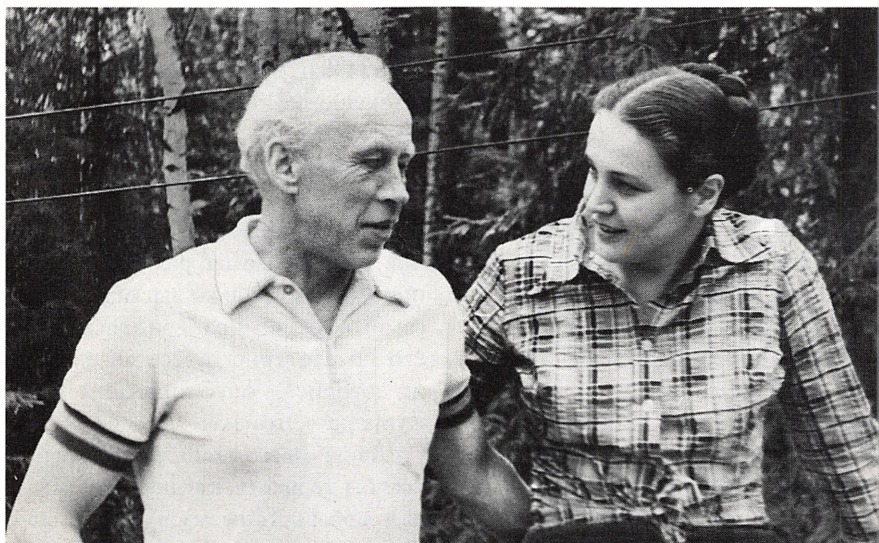
Нужно ли доказывать, какой вред нации приносит проявление такой любви. Она порождает враждебность к какому бы то ни было осмыслению жизни. Национальное развитие, его противоречия, осложнения, наболевшие проблемы — под запретом. Слепое преклонение ли-

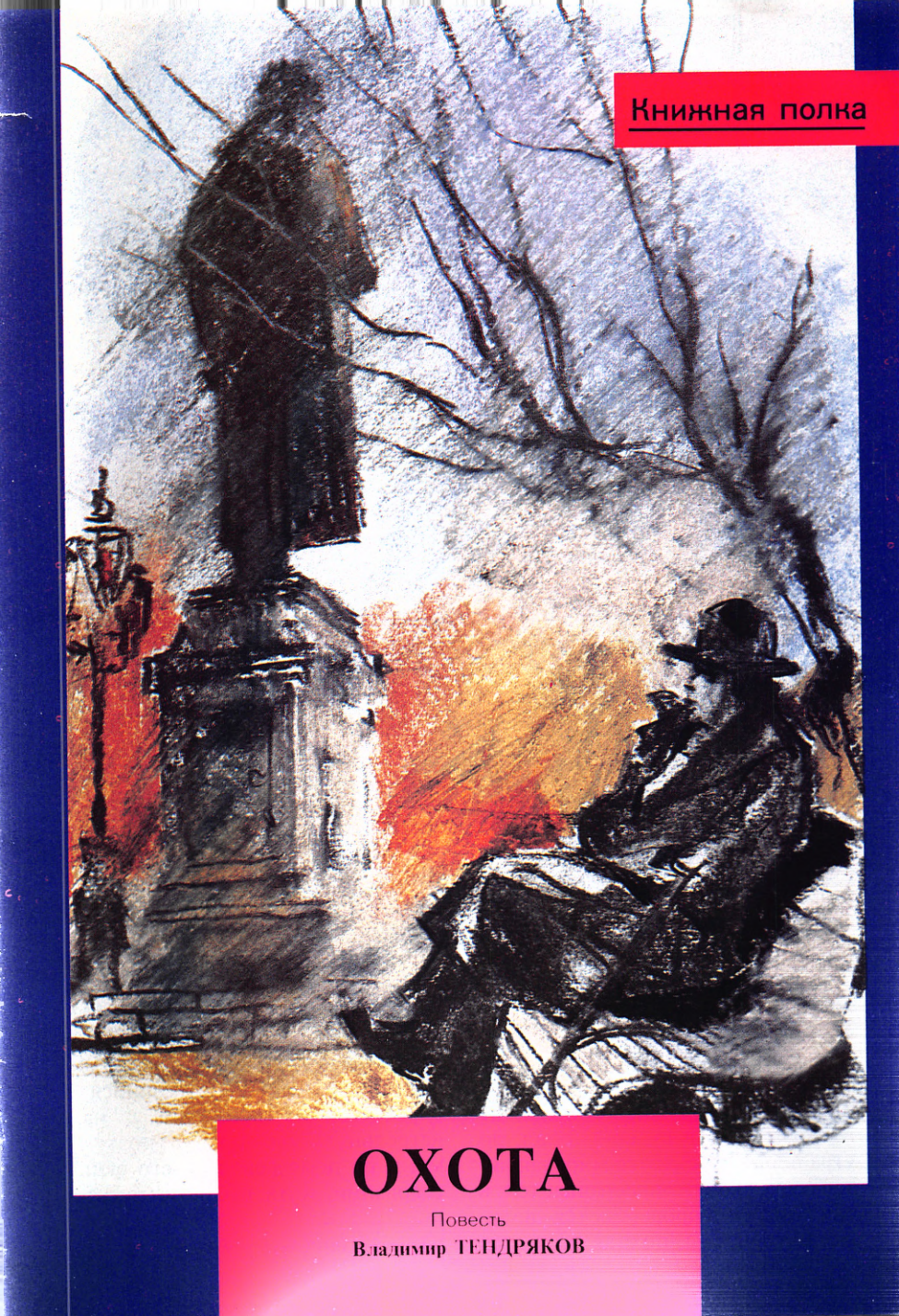
шает нацию самого важного — разумного подхода.

Национальное, как правило, представляет общечеловеческую ценность, национализм вреден даже для той нации, в недрах которой он родился. Выражение национального — объединяющая мир сила. Проявление национализма препятствует объединению, порождает недоверчивость и вражду. Только тот писатель, который несет свою национальную культуру другим народам, способствует возвышению нации, заставляя признать за нею высокое право быть просветителем человечества.

Еще раз напомним: отдающий свои духовные богатства не оскудевает, наоборот, сам приобретает многое».

Тендрянов с женой Натальей Асмоловой.





Книжная полка

ОХОТА

Повесть

Владимир ТЕНДРЯКОВ



ОХОТА

Повесть

Владимир ТЕНДРЯКОВ

Рис. Ильяса АЙДАРОВА

Осень 1948 года.

На Тверском бульваре за спиной чугунного Пушкина багряно неистовствуют клены, оцепенело сидят старички на скамейках, смеются дети.

Здесь — своего рода застава, от нее начинается литературная слобода столицы. Тут же, на Тверском — дом Герцена. В доме Герцена уже много лет государственное учреждение — Литературный институт имени Горького. Это, должно быть, самый маленький институт в стране: на всех пяти курсах нас, студентов, шестьдесят два человека, бывших солдат и школьников, будущих поэтов и прозаиков, голодных и рваных крикливых гениев. Студенческое общежитие — в плесневелых сумеречных стенах бок о бок двадцать пять коек. По ночам это подвальное общежитие превращается в судебный зал, до утра неистово судится мировая литература, койки превращаются в трибуны, ниспровергаются великие авторитеты, походя читаются

стихи и поется сочиненный недавно гимн:

*И старик Шолом-Алейхем
Хочет Шолоховым стать.*

Вокруг института, тут же во дворе дома Герцена и за его пределами, жило немало литераторов. Почти каждое утро возле нашей двери вырастал уныло долговязый поэт Рудерман.

— Дайте закурить, ребята.

Он был автором повально знаменитой песни «Тачанка». Детище бурно жило, забыв своего родителя, а Рудерману не хватало на табачок. Его угощали «гвоздиками»*.

Где-то за спиной нашего института, на Большой Бронной, жил в те годы некий Юлий Маркович Искин. Он не осчастливил мир, подобно Рудерману, победной, как эпидемия, песней, не свалился в сиротство, не приходил к нам «стрельнуть гвоздик», а поэтому мы и не подозревали о его существовании, хотя в Союзе писате-

* Дешевые папиросы. — *Ред.*

лей он пользовался некоторой известностью, был даже старым другом самого Александра Фадеева*.

У него, Юлия Искина, на Бронной небольшая, зато отдельная двухкомнатная квартира, забитая книгами. Его жена Дина Лазаревна работает в издательстве, дочь Дашенька ходит в школу. Хозяйство ведет тетя Клаша, пятидесятилетняя жилистая баба с мягким характером и неподкупной совестью.

* * *

По всей улице Горького садили липы. Разгромив «Унтер ден Линден» в Берлине, мы старательно упрятывали под липы центральную улицу своей столицы. Давно замечено — победители подражают побежденному врагу.

«Deutschland, Deutschland über alles!» — «Германия превыше!..» Ха! В прахе и позоре! Кто превыше всего на поверку?.. Великий вождь на банкете поднял тост за здоровье русского народа:

— Потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Все русское стало вдруг вызывать возвышенно болезненную гордость, даже русская матерщина. Что не по-русски, что напоминает чужеземное — все враждебное. Папиросы-гвоздики «Норд» стали «Севером», французская бул-

ка превращается в московскую булку, в Ленинграде исчезает улица Эдисона... Кстати, почему это считают, что Эдисон изобрел электрическую лампочку? Ложь! Инсинуация! Выпад против русского приоритета! Электрическую лампочку изобрел Яблочков. И самолет не братья Райт, а Можайский. И паровую машину не Уатт, а Ползунов. И уж, конечно, Маркони не имеет права считаться изобретателем радио... Россия — родина закона сохранения веществ и хлебного кваса, социализма и блинов, классового самосознания и лаптей с онучами. Ходили слухи, что один диссертант доказывал — никак не в шутку! — в специальной диссертации: Россия — родина слонов, ибо слоны и мамонты произошли от одного общего предка, а предок этот в незапамятные времена пасся на «просторах родины чудесной», а никак не в потусторонней Индии.

Мы были победителями. А нет более уязвимых людей, чем победители. Одержав победу и не ощущать самодовольства. Ощутить самодовольство и не проникнуться враждебной подозрительностью: а так ли тебя принимают, как ты заслуживаешь?..

«Deutschland, Deutschland über alles!» Разбитую «Унтер ден Линден» усмиренные немцы очищали от руин и отстраивали заново.

На улице Горького садили липы.

В Москве да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупики и безжалостно раскрывали скобки.

Охотились и садили липы...

* А. Фадеев (1901—1956) — советский писатель и общественный деятель. Основные произведения: романы «Разгром» и «Молодая гвардия». С 1946 по 1954 год руководил Союзом писателей СССР. — *Ред.*

* * *

В институте неожиданно самой значительной фигурой стал Вася Малов, студент нашего курса. Он был уже не молод, принес из армии капитанские погоны и пробитую немецким осколком голову. Его выбрали в институтский партиком — за солидность, за то, что фронтовик, что не пишет ни стихов, ни прозы, ни эссе, а значит, охотнее станет выполнять общественные обязанности.

Газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов. Вася Малов выступал на каждом парткоме: такой-то несет в себе заразу безродности. Ему не возражали. Он указал уже на Костю Левина, на Бена Сарнова, на Гришу Фридмана, и все ждали, что вот-вот он укажет на Эмку Манделя. Каждый из нас — кто тася, а кто афишируя, — претендовал на гениальность. Но почти все молчаливо признавали — Эмка Мандель, пожалуй, к тому ближе всех. Не сомневался в этом, разумеется, и сам Эмка.

Он писал стихи и только стихи на клочках бумаги очень крупным, корявым, несообразно шатким почерком ребенка — оды, сонеты, лирические раздумья. И в каждом стихе знакомые вещи вдруг представляли какими-то вывернутыми, не с той стороны, с какой мы привыкли их видеть. Хорошее часто оказывалось плохим, плохое — хорошим. Все поэты в стране писали о великом Сталине. Эмка Мандель тоже...

*Там за текущею работой
Жил, воплотивши резвый век,*

*Суровый, жесткий человек —
Величье точного расчета.*

Эмка искренне считал, что прославил Сталина, изумился ему. Другие могли понять иначе... Но Эмка был не от мира сего. Он носил куцую шинельку пелеринкой (без хлястика) и выкопанную откуда-то шапку-буденовку, едва ли не времен гражданской войны. Говорят, он одно время ходил совсем босиком, пока институтский профком не выдал ему ордер на валенки. Эмку принимали за умалишенного, сторонились на мостовых, что нисколько его не смущало.

Мы любили Эмкины стихи, любили его самого...

* * *

В Доме писателей на бывшей Поварской, в высоком, как колодец, зале, шло очередное общее московское собрание литераторов. Обличали безродных космополитов, называли имена, раскрывали скобки, и прокурорскими голосами читали выдержки из давным-давно забытых статей. От обличенных преступников требовали покаяния, тащили их на трибуну. Они, бледные, помятые, прятали глаза, невнятно оправдывались. Из зала неслись накаленные голоса: «Позор! Позор!» — клич, взывающий к мести.

Среди тех, кому кричали «Позор!», был некий Семен Вейсах, критик, литературовед, старый друг Юлия Марковича Искина. Юлий Маркович не кричал «позор!». Он сидел в зале, слушал и... боялся. Хотя, казалось бы, чего?.. Не участвовал в оппозиции, не

имел связей с границей, даже в критических статьях особенно не нагрешил. Но те, кто сейчас сидит в президиуме, не очень-то хотят считаться с фактами. Они не стихами и драмами завоевали себе славу, а расправой. Им нужны жертвы...

Вейсах, оплывший, грузный, постаревший, стоит у выхода, со свинцового лица сам собой подмигивает глаз. Мимо него торопливо проходят и только потом запоздало оглядываются через плечо. Юлий Маркович, склонив голову, решительной походочкой прошел мимо, боковым зрением уловил, как глаз друга Семена без участия хозяина подмигнул... Бесмысленный глаз, ничего не замечающий.

* * *

Жена встретила Юлия Марковича в дверях, на мгновение замерла с широко распахнутыми глазами, словно всосала взгляд мужа в провальные зрачки, успокоилась и ничего не спросила.

— А у нас гости.

Раиса, дочь тети Клаши. Давно уже шли разговоры, что она приедет в Москву погостить. Сама тетя Клаша была плоскогруда, мословата, в угловатости костистого перекошенного тела, в каждой спеченной морщинке на лице чувствовался многолетний безжалостный труд, состаривший, но не убивший выносливую бабу.

Раиса же оказалась угнетающе не похожа на мать: белокожая, грубо крашенная — с расчетом «на знойкость» — брюнетка. У нее ка-

менно тупые скулы и мелкие глаза с липкими ресницами, пухлый рот жирным сердечком.

Дина Лазаревна, должно быть, сердилась на себя за то, что гостя не нравится, потому была преувеличенно сердечна: «Еще чашечку чая, Раечка?.. Вы варенья не пробовали...» — «Нет уж, извиняюсь. И так много вам благодарна». — И Раиса отодвигала чашку белой крупной рукой с чинно оттопыренным мизинцем.

А в посадке присмирившей за столом Дашеньки, в округлившись глазах таилась недвусмысленная детская неприязнь, быть может, ревность. Дашенька и тетя Клаша до беспамятства любили друг друга.

* * *

Клавдия Митрохина — тетя Клаша — выросла в деревне под названием — надо же! — Веселый Кавказ. Этот Веселый Кавказ стоял среди плоских, уныло распаханных полей, открытый ветрам. Здесь даже собаки ленились лаять, а девки и парни до войны ходили на игрища в село Бахвалово за семь верст.

А в войну Веселый Кавказ совсем опустел, какие были мужики, всех забрали, мужа Клавдии одним из первых. Он написал с формировки два письма: «Живем в городе Слободском в землянках, скоро пошлют на фронт», и... ни похоронной, как другим — «пал смертью храбрых» — ни весточки о ранении, ничего — пропал.

В деревне же начался голод, из сенной трухи пекли колобашки, даже старую сбрую, оставшуюся с

единоличных времен, сварили и съели. Райке исполнилось семнадцать лет, кожа синяя и прозрачная, глаза большущие, сонливые, с тусклым маслицем, шея и руки тоненькие, а живот большой и тугой. Невеста.

Надо было спасать Райку.

Из Веселого Кавказа сбежать нелезя. Без отпускных справок, без паспорта при первой же проверке схватят на дороге. Вся страна в патрулях, под строгим надзором. Есть только одна стежка на сторону — в лес. Туда не только пропускают, туда гонят. Каждую зиму колхоз выставлял сезонников на лесозаготовки — людей и лошадей.

В лесу давали хлеб. И не так уж мало — семьсот пятьдесят граммов в сутки, ежели выполнить норму. Но даже мужики не выдерживали там подолгу — с лучковой пилотой на морозе, по пояс в снегу, от темна до темна, изо дня в день — каторга.

У Райки означился рисковый характер:

— Пойду, мамка. Что уж, здесь помирать, а там еще посмотрим...

А смотреть-то нечего — костью жидка, одежонка худа, на первой же неделе свалится. Но поди знай, где наскочишь на счастье. Повезло Райке, что с голодухи ее шатало, куда такой на лесоповал, пусть подкормится — сунули в столовку при лесопункте посуду мыть. Думали на время, а Райка оказалась не из тех, кто свое упускает. И стали приходиться от нее редкие письма:

Здравствуйте, родимая маменька Клавдия Васильевна! Низко кланяется вам ваша дочь Рая. Мое сердце без тебя, словно ива без ручья. Так что

спешу сообщить: живу хорошо, чего и вам желаю. Нынче чай всегда с сахаром и даже печеньем «Привет». Зовет меня к себе жить Иван Пятович Рычков. Он у нас прораб по вывозке, но уже два месяца заместо начальника. Начальник наш стал шибко кашлять, увезли в больницу, должно, скоро помрет от кашля этого и от старости. У Ивана Пятовича в леспромхозовском поселке свой дом, и жена тоже есть, но стара. А дети совсем большие, одного даже убило на фронте. Такие, как Иван Пятович, нынче на дороге не валяются. И меня тогда сразу переведут из раздатчиц вторым поваром, а может, и вовсе экспедитором сделают, потому что почерк хороший и считаю в уме быстро.

Покуда, до свидания. Ваша дочь — Рая.

Жду ответа, как соловей лета.

Райка пила чай с сахаром и печеньем «Привет», а Клавдия давно уже не пробовала чистого хлеба. Весной начали опухать ноги. В конце мая перед троициным днем она почувствовала себя лучше, потому что бригадирша Фроська схитрила — списала остаток семенного фонда, выдала вместо аванса. Клавдия напекла овсяных колобашек пополам с крапивой, захлопнула поплотней дверь избы и отправилась к Райке. Родимая доченька, прими мамку, от смерти бежит!

А Райка уж не та — платье новое в лиловых цветочках чуть не лопается на груди. Мать перед ней — ноги черные, на плечах полукафтанные — заплаты выкроены из старых мешков, — холщовая сума через плечо. У Райки под бровями, в сум-

раке раскосых глаз, что-то мечется, словно мышшь в кувшине, — нет, не мать к ней пришла, а то старое, от чего сбежала, Веселый Кавказ нежданно-негаданно к ней нагринул, проклятая родина.

Холщовую сумку Райка набила до отказа: кирпич хлеба, две банки мясных консервов, сахару полкило, большая пачка настоящего чая, четыре брикетика пшенинного концентрата, даже пачку печенья «Привет» в цветной обертке сунула. Для подарка — слишком много, для жизни мало, не дотянешь до свежей картошки.

... Она шла лесами и полянами, минуя тихие, оцепеневшие от голода деревни. Садилась отдыхать у родничков, жевала городской хлебец, запивала его травянисто пахучей водицей и радовалась не зная чему. В такую счастливую минуту она набрела на счастливое решение. Пока шла до дому, все толком обдумала.

В лавке села Бахвалова продавщица Мария всегда держала в глубоких тайничках бутылочку «московской» водки, спасенную от продажи по спецалонам. Клавдия предложила Марии обмен — две банки мясных консервов на поллитра под сургучом.

Председатель сельсовета Афонька Кривой ради советской державы готов был отдать жизнь, и не одну — много, но за бутылку «московской» он не пожалел бы и самой державы. Афонька Кривой написал Клавдии справку с чернильным штампом и круглой печатью.

Клавдия доехала до Москвы и стала просить милостыню возле Курского вокзала, выбирая тех, у

кого подобрей лица. Она протянула руку к офицеру: «Христа ради, на пропитание».

Офицер был невысок, шинель нескладно сидела на его узких плечах — рыжие бровки, нос клювиком, мягкие чистенькие морщинки. «Откуда ты, бабушка?»

Разговорились. Клавдия чисто-сердечно поведала, как бежала из Веселого Кавказа.

Юлий Маркович тогда только демобилизовался. Всю войну он без особых тягостей прослужил во фронтовой газете, часто наезжал в Москву. Шинель с погонями майора он донашивал последние дни, несколько книжных издательств нуждались в его сотрудничестве, жена тоже работала, росла дочь, и ее не с кем было оставлять дома.

«Бабушка» оказалась старше его всего на три года. Поразили ее глаза — ненастно серые, ни боли в них, ни надежды, одно лишь бездонное терпение, глаза русской деревни, перевалившей через самую страшную в истории человечества войну.

Одессе, начавшаяся в Веселом Кавказе, окончилась на Большой Бронной.

* * *

Оказалось, Раиса приехала не просто погостить. Последнее время она работала в леспромхозовском отделе рабочего снабжения, там случились крупные неприятности, на Раису пыгались повесить чужую растрату. И с Иван Пятчем пора было кончать. Он собирался развестись с законной же-



ной, а какой расчет связывать свою жизнь со стариком, когда молодые вернулись. Раиса намеревалась пустить корни в Москве.

Все это сообщила Юлию Марковичу тетя Клаша, ворча на дочь и вздыхая. Клавдия дочь не особо одобряла, но... помоги, Юлий Маркович.

* * *

Стихи и романы русских классиков, революционные лозунги, культура и политика, собственная совесть и государство — все изо дня в день, из года в год требовало от Юлия Марковича преклонения перед народом. Перед теми, кто пашет и стоит у станков, лишен образованности, но зато сохранил первозданную цельность, не философствует лукаво, не сентиментальничает, то есть не имеет тех неприглядных грехов, в каких погрязла интеллигенция. К интеллигенции как-то само собой ложатся непочтительные эпитеты, вплоть до уничтожающего — «растленная». Но чудовишно даже представить, чтоб кто-то осмелился произнести: «Растленный народ». Тако-го не бывает.

В последнее время слово «народ» получило новый заряд святости в сочетании со словом «русский». Украинский народ, казахский народ, узбекский, равно как народ манси, народ орочи — звучит, но не так. Сказано Сталиным, вошло во все прописи, узаконено: русский народ «наиболее выдающийся... руководящий народ». Народ из народов, не чета другим.

Тетя Клаша, баба из деревни Ве-

сельный Кавказ, — чистейший образец этого руководящего народа, честна, проста, не испорчена сомнением — золотая песчинка высокой пробы. И конечно же, она по простоте своей неиспорченной души не подозревала о собственном величии. Юлий Маркович считал своим долгом открыть ей на все глаза:

— Вот уж, Клавдия, оглянутся наши дети и внуки на таких, как ты, памятники вам поставят.

— Чем же сподобились?

— Не малым. Мир спасли.

— Ишь ты, прежде-то один спаситель был — Христос, пося-то, выходит, многонько спасителей будет.

И еще тем усердней он возвеличивал Клавдию перед Клавдией, что в последнее время постоянно чувствовал к себе настороженность: «Ты не тот, кто способен оценить все русское». Ан нет! Если его дед носил пейсы, это не значит, что русское закрыто для него.

Клавдия олицетворяла русский народ, а вот ее родная дочь, тоже ведь прошедшая через чистилище Веселого Кавказа, наглядно русской почему-то не казалась. Раиса держалась обходительно: «Доброе утро... Извиняюсь... Много вам благодарна...» Но каменные ресницы, манерно оттопыренный палец, выправочка буфетчицы — как не похожа она на свою простую, родственно понятную мать! Но мать просит: «Помоги!» То есть приюти, оставь под своей крышей, введи в свою семью.

Как-то раз Юлий Маркович застал Раису за странным занятием — обмеряла веревочкой простенок в

коридоре. Увидела Юлия Марковича, сунула веревочку в карман, похоже, смутилась, но только чуточку.

— Что, Рая? — спросил он.

Она помедлила, глядя мимо, чопорно ответила:

— Сервант бы вам лучше из комнаты сюда вынести, как раз встанет.

И ушла, ничего не объясняя. Юлий Маркович так ничего и не понял. Зачем его выносить в тесный коридор?

Ночью перед сном он вспомнил этот случай и рассказал жене. Дина Лазаревна долго молчала и вдруг тихо призналась:

— Я боюсь.

— Чего, Дина?

— Всего... И ты ведь тоже, не притворяйся... Юлик, хочу, чтоб она уехала.

Он помолчал и мягко возразил:

— Дина, вспомни Чехова. Вспомни, как он говорил: надо, чтоб под дверью каждого счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и напоминал стуком, что есть несчастные. Дина, до сих пор мы были непозволительно счастливы. Она ела толченую кору. Нам стучат, Дина, а мы не хотим слышать.

* * *

Со стены нашего общежития отсыревшим голосом кричал репродуктор:

— Новое снижение цен на продукты массового потребления!.. Рост экономического благосостояния!.. Расцветание!..

На моей тумбочке лежит письмо матери. Мать пишет из села: «Кар-

тошки нынче накопила всего три мешка. Да мне одной много ли надо — проживу. Карточки отменили, а хлеб у нас все равно по спискам продают. Для районного начальства по особым спискам даже белый хлебец отпускается. А вот сахару у нас нет даже для начальства».

Надо матери послать килограмма два сахара. Такие расходы мой тощий карман как-нибудь выдержит. Я подсчитал: от снижения цен в месяц сэкономят... два рубля. Обед в столовой стоит худобно пять рублей. «Снижение!.. Расцветание!..»

Эмка Мандель сидит на своей койке, чешет за пазухой, сопит, смотрит в одну точку и неожиданно рождает четверостишие:

*А страна моя родная
Вот уже который год
Расцветает, расцветает
И никак не расцветет.*

Радио восторженно играет. Мы смеемся.

— Талант — штука опасная! — вдруг изрекает из угла некто Тихий Гришка.

Ему уже за тридцать, всегда молчалив, всегда обособлен, в своем углу, как крот в норе. Но если он раскрывает рот, то почти всегда выдает закругленную истину — банальность и откровение одновременно.

Эмка отбивает мяч:

— Старик! Ты в полной безопасности!

* * *

Должно быть, Раиса родилась под счастливой звездой. Все случилось неожиданно легко и бы-

стро. Без помех отыскался старый знакомый Семена Вейсаха, который когда-то помог прописать Клавдию. Телефонного звонка в отделение милиции было достаточно, чтобы на периферийный паспорт Раисы поставили штамп: «Прописан временно». С Юлия же Марковича лишь взяли расписку, что он не возражает прописать в свою квартиру гражданку Митрошину Раису.

Операция проводилась с помощью Семена Вейсаха, а потому его пригласили на чашку чая. Юлий Маркович никак не мог забыть свинцового лица друга Семена, его самостийно подмигивающего глаза.

В пятнадцать лет Вейсах воевал у Котовского*. Легендарный комбриг, как говорят, ласково называл его: «Образцово-показательный жид у меня». Вейсах специализировался по военной литературе. Еще недавно носил на пухлых широких плечах полковничьи погоны. Сейчас у Семена на висках проступила нездоровая маслянистая желтизна, крупная нижняя губа отвалилась, как у деревенской заезженной лошади, во влажных глазах неизбывная печаль детей Авраамовых. Он пил чай, грустненько, в осторожных выражениях сообщал: «Воениздат» передал сборник очерков о партизанах другому составителю, договор на книгу расторгнут...

Клавдия подсовывала Семену бутерброды с колбасой, вздыхала, а Раиса разглядывала его внимательным взглядом, словно оцени-

вала про себя надетый на Семена пиджак. И Семен, должно, чувствовал этот взгляд, горбился, блуждал печальными глазами по сторонам.

— Юлик, — негромко произнес Семен после мучительного молчания, — Ася недавно продала свою шубу... И вот мы опять... без копейки.

— Да ради бога, Сима.

Дина Лазаревна сорвалась с места, исчезла в соседней комнате, через полминуты вернулась с деньгами. Семен меланхолично их принял, опустил в карман и встретился взглядом с Раисой, веко его дернулось, и глаз вызывающе подмигнул. Раиса равнодушно отвернулась, а Семен сразу заторопился:

— Мне пора... Уже поздно.

Юлий Маркович проводил его до дверей. В шляпе, в плаще, неповоротливо громоздкий Семен взял ватной рукой за локоть, дыхнул в лицо запахом только что съеденной колбасы.

— Юлька... — почти беззвучно шевельнул он отвалившейся лошадиной губой, — берегись!.. — И качнул в сторону комнаты подбородком, где вместе со всеми за чайным столом сидела Раиса, произнес вслух, извиняясь: — Я теперь стал ясновидящим.

Он боком вывалился на лестничную площадку, оставив после себя тревожное ощущение беды.

* * *

Беда вошла в дом через щель почтового ящика в служебном конверте со штампом вместо марки. Ничего особого — бумажка из

* Герой гражданской войны. — *Ред.*

парткома. Юлия Марковича просили явиться в назначенное время.

Секретарь парткома долго рылся в ящике письменного стола, и лицо его, кроме привычной озабоченности, выражало сейчас брызгливенькое несчастье: «Вы тут черт-те что вытворяете, а я расхлебывай».

— Вот... — он вынул нужные бумаги, положил на них ладонь и взглянул на Юлию Марковича не начальственно, не строго, а скорей с досадою. — На вас поступила... М-м-м... Скажем так — жалоба.

— От кого?

Секретарь парткома пожал плечами, считая вопрос неуместным.

— Надо признать — крайне глупая. Вот, извольте, что стóит такое: «Кто это письмо прочтет, тот правду найдет...»

Тоскливенький холодок поплыл из глубины, от живота к горлу. Клавдия часто показывала Юлию Марковичу письма Раечки, он знал ее стиль: «Мое сердце без тебя, словно ива без ручья...»

— Вы, кажется, знаете, кто автор?

— Догадываюсь. Так что она там пишет?

— Она... гм... она пишет... «Член партии, писатель Искин Юлий Маркович принимает у себя дома подозрительных людей, которые ему жалуются на Советскую власть. Искин Ю.М. снабжает их деньгами на тайные цели. Он, Искин Ю.М., полный двурушник — в разговорах хвалит русскую нацию, а как на деле, то ненавидит. Простую русскую женщину, которую он у себя держит в прислугах, выпихнул на кухню, а сам живет в двух комнатах — одна шестнадцать квадратных метров, другая двад-

цать два...» — Секретарь, поморщившись, отодвинул письмо: — Вот, чем богаты, тем и рады.

«Сервант бы вам лучше из комнаты вынести»... До того как он, Юлий Маркович, ей помог, она уже обмеривала веревочкой его квартиру.

— Вы хотите, чтобы я оправдался? — спросил Юлий Маркович.

— А что делать? Мы обязаны внохиваться, вы — очищаться. Напишите объяснение, что у вас никто не бывал... кто бы мог вас как-то скомпрометировать.

Секретарь ждал краткого и решительного — никто. Но Юлий Маркович не мог ответить так. Соврать ради простоты столь же опасно, как выбросить в мусорную корзину анонимку.

— У меня бывал Вейсах, Семен Вейсах... Мы с ним двадцать пять лет знакомы.

Секретарь парткома тоскливо отвел глаза.

— Не хочу допрашивать вас, о чем вы там с ним говорили, но надеюсь... надеюсь — вы хотя бы не давали ему денег.

— Дал... Он сейчас без копеечки.

Наступила тишина.

— Худо, Юлий Маркович, худо... — произнес наконец секретарь. — Я не хотел это выносить на обсуждение... Не могу.

Это «не могу» были последние дружелюбные слова — взгляд стал скользить куда-то мимо уха Юлии Марковича, лицо обрело деловую сухость.

...Не мной первым сказано: «Несчастлива та страна, которая нуждается в героях».

* * *

Только Дашенька легла спать. В стенах, тесно обложенных книгами, собралось все население квартиры — Дина Лазаревна с цветущим красными пятнами лицом. Клавдия, приткнувшаяся на краешке дивана, и Раиса, плотно опустившаяся на предложенный стул.

Она подрагивает крашеными ресницами, глядит в сторону — губы обиженно поджаты, скулы каменны. Юлий Маркович возвышается над ней. Он старается изо всех сил, чтоб голос звучал спокойно и холодно.

— Раиса Дмитриевна! Прошу ответить!..

Суд при всех, суд на глазах ее матери. Он не продлится долго. Юлий Маркович вынесет приговор и протянет руку к двери: «Убирайтесь вон! Вам здесь не место!»

Подрагивающие угольные ресницы. Она начнет сейчас оскорбляться: «Ничего не знаю, напрасно вы...» Не поможет! Рука в сторону двери: «Вон!» Неколебимо.

Но Раиса, метнув пасмурный изпод ресниц взгляд, порозовев скулами, проговорила с вызывающей сипотцой:

— Ну, сделала...

Юлий Маркович растерянно молчал.

— Потому что должна же правду найти.

— Правду?

— Образованные, а недогадливые. Вы вона как широко устроились — втроем в двух комнатах с кухней, а нам у порожка местечко из милости — живите да себя помните. А помнить-то себя вы

должны, потому что люди-то вы какие... Не забывайте! — Упрямая убежденность и скрытая угроза в сипловатом голосе.

— Какие люди, Раиса Дмитриевна?

— Да уж не такие, как мы. Сами, поди, знаете. Разрослись по нашей земле цветики-василечки, колосу места нету.

Прямой взгляд из-под крашенных ресниц, прямой и неломкий, с тлеющей искрой. И Юлию Марковичу стало не по себе. Эта женщина ничем не может гордиться: ни умом, ни талантом, ни красотой, только одним — на своей земле живу! Единственное, что есть за душой, попробуй отнять.

Юлий Маркович обернулся к Клавдии и увидел в ее глазах и в ее печальной вязи морщинок мягкую укоризну: «Ты что, милушко, дивишься? Ты же сам мне все время толковывал, что вы-де, русские, в Веселом Кавказе рожденные, не чета нам всем, миром кланяться нам должны...»

Светлые, бесхитростные глаза... Тем страшнее приговор, что вынесен с любовью. Он стоял, тупо смотрел на Клавдию и не шевелился. И вдруг вскинула руки Дина Лазаревна, вцепилась в волосы, рухнула на диван. Между стенами, забитыми книгами, заметался ее клокочущий горловой голос:

— Господи! Господи! Куда спрятаться? Ку-уд-да?!

Раньше Юлий Марковича встрепенулась Клавдия: «Динушка! Да ты что, родная?.. Да успокойсь, успокойсь! Христос с тобой!»

Раиса сидела величественным памятникком посреди комнаты, только

крашенные ресницы подрагивали на розовом лице. Юлий Маркович пришел в себя:

— Уходи-те! Все уходите!.. Раиса Дмитриевна, ради бога!.. И ты, Клавдия, тоже!..

Нет, он не говорил «вон»! Не требовал, а просил: «Ради бога!»

Раиса не шевелилась.

* * *

Под дубовыми сводами тесного зала собрались литераторы Москвы, прославленные и безвестные, и еще совсем незрелая мелкота, вроде нас, студентов литинститута, сумевших просочиться в этот высокий ареопаг. Собрание шло, как всегда, — возбужденно до неистовости. Выступающие потрясали кулаками над трибуной, а из зала неслись вопли «Позор! Позор!».

Юлий Искин, сутулящийся под тяжестью головы, с несолидным носом ястребенка, еще не созревшего до хищника, мертвенно-бледный, вызывал у зала брезгливую жалость и чувство победности. «Позор!» Со всей благородной неистовостью.

Мой отец неукротимо верил в лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Всех стран, всех наций! И над моей кроватью когда-то висел плакат — негр, китаец и европеец под красным знаменем. В наших северных лесах как-то не водились евреи, мне чаще приходилось о них слышать, а не видеть... Я любил далеких евреев наряду с неграми. Позднее я столкнулся с ними и немного разочаровался — слишком уж обычны, не лучше меня, не несчастнее. Что такое космо-

политизм? Что такое интернационализм? Как бы ответил на эти вопросы мой отец? Отца нет — погиб на фронте... «По-зор! По-зор!» Я не кричал вместе со всеми. Что-то останавливало меня.

* * *

— Вам хочется услышать человеческий голос, мне — тоже. Поговорим. Хотите что-то спросить у меня? Не стесняйтесь...

На Тверском бульваре стояли синие сумерки, еще не зажглись фонари. Все ребята разбрелись кто куда. Те, у кого были хоть какие-то деньги, остались в ярко освещенном, шумном ресторане Дома литераторов. У кого в Москве были знакомые, укатили в гости. Парочки по-весеннему целуются на скамейках. Я выбрал скамейку, свободную от парочек, и уселся. Рядом со мной опустился человек в кепке с длинным твердым козырьком, с узким лицом и ломко хрящеватым носом. Я обрадовался: худо быть одному в населенном бульваре, где целуются парочки.

И я спросил:

— Скажите, чем отличается интернационализм от космополитизма?

Он ответил почти любезно:

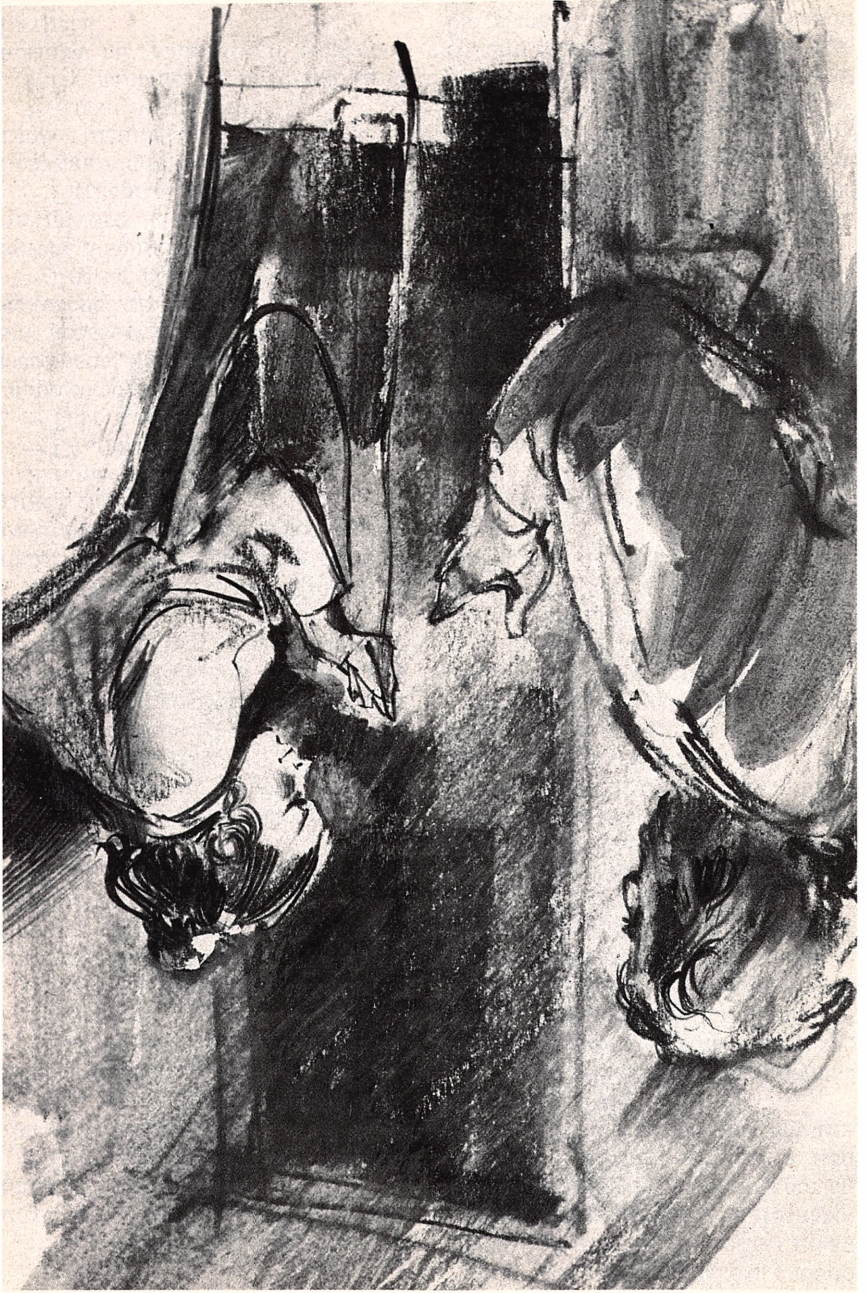
— Должно быть, тем же, чем голова от башки.

— Ну, а сионисты, эта организация... Они не выдуманы, они на самом деле есть?

— Если были немецкие националисты, если есть русские, то почему бы не быть еврейским?

— Как-то вы всех в одну кучу.

— Несхожи?



— Нет.

— Комнатная болонка тоже не похожа на дога, но суть-то у них одна — собачья.

— Одна суть у немецких фашистов и сионистов?!

— И у наших русопятов тоже. Не выгораживайте.

— Вы стыдитесь, что вы русский? — спросил я.

Он сидел, распрямившись, тощий, со взведенными хрупкими плечиками, — узкое лицо, скривленный нос, остро врезающийся в густую тень под козырьком, надежно укрытые глаза.

— Нет, — сказал он наконец. — Но боюсь... Боюсь, чтобы не пришлось стыдиться. — Помолчал, ощупывая меня из мрака настороженным под козырьком взглядом, добавил: — Молодой человек, разве вы не видите, что на это есть основания.

Шли мимо прохожие. И один из прохожих в потасканном пальтишке, в кепке с длинным козырьком сидел передо мной.

Я переспросил его:

— Стыдиться? Чего?

— Того же, чего стыдится сейчас любой честный немец: газовых камер, рвов, набитых расстрелянными детьми, мыла, сваренного из человеческих трупов.

— Гитлер со своей сволочью повинен, а не нация. Отделяйте одно от другого, — сердито сказал я.

— Гитлеры-то, молодой человек, появляются не по божьей воле, их творит нация.

Я глухо потребовал:

— Ну, дальше. Разве только ради немцев вы вспомнили мертвого Гитлера?

Под твердым козырьком, словно зыбкая луна в омуте, поблескивал глубоко упрятанный глаз. Незнакомец приподнял вверх свою костлявую руку, словно держал в ней хрупкий бокал, заговорил с грузинским акцентом:

— «Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и... терпение». Не правда ли, подкупающая лесть: «И терпение...»

— Передергиваете, господин хо-роший, — возмущился я. — Разве свою нацию хвалит этот человек?

— Национализм не проявление родословных симпатий, молодой человек, а политика. И не забывайте, что Гитлер совсем не походил на классического арийца — белокурую бестию. Выкресты были наиболее злобными антисемитами. Почему бы грузину не стать великоросским шовинистом, когда это выгодно.

— Чем ему выгодно? Чем?!

— Твоя нация превыше всего, твой терпеливый народ — руководящий, ты принадлежишь к этому народу, значит, и ты высок, наделен правом руководить другими, даже если не имеешь на это ни ума, ни таланта. Доступная арифметика и многообещающая.

— Она выгодна Сталину?

— Она выгодна недоумкам, у которых нет ничего за душой. Она выгодна всем обиженным и обойденным, озлобленным неудачникам. Неудачники, молодой человек, великая сила. Им терять нечего, они готовы на любой риск, чтобы вырвать благополучие. Какой

политик отказывался от силы?.. — Незнакомец сделал паузу и с улыбочкой добавил: — Тем более что лозунг времен революции «Бей буржуев! Грабь награбленное!» сейчас стал небезопасен. «Бей жидов, спасай Россию» — надежней.

Я поднялся. Передо мной сидел старый, жалкий человек, с шеей, похожей на петушиную лапу. Сидел и бледненько улыбался. С этой невнятной улыбочкой он оплевывал сейчас все — мою родину, ее великого руководителя, революционные лозунги, за которые воевал и погиб мой отец. Я прошел сквозь жестокие испытания. Я видел, как во время коллективизации выселяли мужицкие семьи — баб, детишек, стариков. Видел, как в пристанционном березнячке умирали от голода такие высланные, я помню, как по ночам исчезали соседи по дому... Видел и страдал, но я выдержал, не треснул — верен родине, верен отцовским лозунгам!

— Уходи! — сказал я ему.

Я боялся, что он не послушается, не двинется с места, но он встал, отвернулся, шагнул и остановился, задрвав твердый козырек к зажегшемуся фонарю.

— С кем?.. Кто живой?.. Пустыня! — сквозь стиснутые зубы скулящим стоном.

Я стоял праведным монументом.

Жив ли ты? Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец. Время заставило меня поумнеть. Теперь я сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются. Пытаюсь... И часто — ох, как часто! — меня не понимают даже близкие. И хочется скулить на фо-

нари: «С кем? Кто живой?.. Пустыня вокруг!»

Прости меня.

* * *

Мы собирались спать. Посапывал в своем углу Гришка Тихий, горел свет под потолком нашей комнаты в общежитии. Неожиданно раздался требовательный стук в дверь. Никто не успел подать голоса, дверь распахнулась, показала дремучая голова нашего дворника. Дворник посторонился, и один за другим с бодрой, даже несколько заносчивой решительностью вошли незнакомые люди — трое похожих друг на друга, как братья в синих плащах и новеньких серых фуражках, четвертый военный с погонами майора.

— Ваши документы! — чеканный голос над моей головой.

— Ваши документы! — Но уже не мне, а моему соседу.

Возле койки Эмки Манделя двое — штатский и военный. Мелькает в воздухе белый лист бумаги:

— Вы арестованы!

Эмка без очков, подслеповато щурясь, и лбом, и щеками тычется мягким носом в подсунутую к его лицу бумагу.

— Оружие есть?

Эмка бормочет каким-то булькающим голосом:

— За что?.. Что же это?.. Товарищи!

— Одевайтесь. Собирайте свои вещи!

Эмка покорно выползает наружу, путается в брюках... На лицах гостей служебное бесстрастное терпение — учтите, мы ждем. Эмка на-

тягивает свою знаменитую шинель-пелеринку, нахлобучивает буденовку. С потным, сведенным в подслеповатом сощуре лицом, всклокоченный, он застывает на секунду, озирается и вдруг убито объявляет:

— А я только теперь марксизм по-настоящему понимать начал...

Он действительно вот уже целый месяц таскал всюду «Капитал» вместе с томиком стихов Блока, кричал, что глава о стоймости написана гениальным поэтом.

От неуместного признания лица гостей чуточку твердеют, что должно означать: пора! Один из штатских вежливо трогает Эмку за суконное плечо:

— Идемте!

— Можно я прощусь?

— Пожалуйста.

Эмка начинает обнимать тех, кто лежит ближе к дверям:

— Владик, до свиданья... Сашуня... Володя...

Обнял крепко меня, потно, влажно поцеловал в щеку.

... Кажется, Владик Бахнов первый произнес короткий, как междометие, вопрос:

— Кто?

Все перестали шевелиться, перестали смотреть друг на друга, молчали. Кто-то донес на Эмку. Кто-то из нас...

* * *

Юлия Марковича Искина арестовали в ту же ночь, только позже, часа в четыре. Звонок в дверь — трое в штатском, один в военном...

* * *

На следующий день нас удивил Вася Малов. Узнав об аресте Эмки Манделя, он вдруг впал в неистовое бешенство:

— Кто эт-та сволочь?! Кто наступал?! Талант продали, гады!..

Вася Малов, человек с поврежденными немецким осколком мозгами, Вася Малов — гроза евреев, биологически их ненавидящий, оказывается, тайком, ни с кем не делясь, страдальчески любил стихи Эмки.

... Вася умер сразу же после окончания института. От старой раны в голову.

* * *

В 1956 году вернулся в Москву Эмка Мандель. Через восемь лет после ареста. Он скоро стал поэтом Коржавиным. И Краткая литературная энциклопедия приняла его в свои объятия: «Коржавин Н. (псевд.; наст. имя — Наум Моисеевич Мандель; р.14/X. 1925, Киев) — рус. сов. поэт. Окончил горный техникум в Караганде... Стихам К. свойственны гражданственность и философ. лиризм...»*

С Юлием Марковичем Искиным я познакомился в писательском Доме творчества. Вечерами мы предавались там воспоминаниям... Квартиру Искина на Большой Бронной по-прежнему занимает Раиса. У нее семья — муж и двое детей. Юлий Маркович живет в новой квартире на проспекте Вернадского.

* В 1972 году Н. Коржавин переехал в США.
— *Ред.*

Тетя Клаша вынянчила внуков и... недавно вернулась к Искиным. Дашенька вышла замуж, родила сына. Тетя Клаша не может жить, чтоб кого-то не нянчить. И Юлий Маркович хвалит ее с теплотой в голосе:

— Все-таки редкой души человек... Самозабвенна...

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ РЕПЛИКА

Документ, вырвавшийся из канцелярии М.В.Келдыша.*

Президенту АН СССР академику М.В.Келдышу.

Резолюция академика

Келдыша: «Ознакомить».

За последнее время я неоднократно сталкивался с распространяемыми обо мне среди членов отделения философии и права Академии наук СССР утверждениями, будто я скрываю подлинную национальность, поскольку я якобы являюсь в действительности «польским евреем». Я мог бы игнорировать эти слухи, если бы не обстоятельство, что они находятся в прозрачной связи с фактом выдвижения меня в кандидаты на избрание в члены-корреспонденты Академии наук СССР.

Указанные утверждения и слухи носят клеветнический характер, и они никоим образом не соответствуют фактам. А последние так вы...

(Из сострадания к читателю опускаю подробнейшую родовую историю автора. Особый упор автор делает на фамилии, чтоб, не дай бог, не возникло сомнение — не прокрался ли в родню чужеродный выходец из Палестины. Нельзя не признать, что все без исключения фамилии не вызывают никакого сомнения в чистоте породы автора.)

...Я прошу ознакомиться с настоящим заявлением членов отделения философии и права АН СССР. В случае, если Вы сочтете мое письмо неудовлетворительным, прошу назначить расследование.

*Доктор философских наук,
профессор МГУ,
старший научный сотрудник
АН СССР (по совместительству)
И.С.НАРСКИЙ.*

10 октября 1970 г. Москва.

Знаменательно, что этот документ появился спустя 20 (!) лет после кампании борьбы с безродными космополитами. «Жив, жив, курилка!» Возможно, Нарский знал, каких взглядов «на чистокровность» придерживаются ученые, которые представляют в АН философию и право...

Впрочем, принятые предосторожности не помогли. Нарского не избрали в членкоры. Ему осталось только сетовать на происки сионистов.

* Мстислав Келдыш (1911 — 1978) — советский математик и механик; с 1961 по 1975 год — президент АН СССР. — Ред.

*Публикация и дайджестирование
Нatalы АСМОЛОВОЙ-ТЕНДРЯКОВОЙ.
Из журнала «ЗНАМЯ».*